

Игорь ВИРАБОВ

Журналист, филолог. Родился в 1959 году в городе Баку. Окончил Азербайджанский госуниверситет, факультет филологии («русский язык и литература»). Работал учителем средней школы в селе Сеидбазар в Азербайджанской ССР. В 1982 году переехал в город Курск, где работал корреспондентом заводской многотиражки в объединении «Прибор». В 1984–1988 годах заведовал отделом культурно-массовой работы в областной молодежной газете «Молодая гвардия». С 1988 года – собкор «Комсомольской правды» по Среднему Поволжью. С 1994 года – редактор отдела культуры, с 1998-го – заместитель главного редактора «Комсомольской правды», с 2006-го – заместитель главного редактора газеты «Известия». В настоящее время – редактор отдела культуры «Российской газеты». Занимал пост ответственного секретаря газеты «Аргументы и факты», затем вернулся в «Российскую газету».

Автор биографии поэта Андрея Вознесенского (вошла в короткий список премии «Большая книга»). Живет в Москве.

ЭВАКУАЦИЯ В ТАШКЕНТ

Что можно узнать о себе за двадцать дней
с войной и без войны

Город букв

Иду себе по ташкентской улице Сагбан. Слева мелькнули буквы акварельных минаретов. Справа вздохнули предложениями дворики сочного плова. Дальше пошли бетон, металл и проза – вдруг читаю на заборе чей-то крик души: «Я посвятил это девушке с зелеными глазами».

Загадочная надпись, согласитесь. Автор явно, хоть и аноним, поэт. Сфотографировал на всякий случай.

Тем более что надпись мне напомнила другую странную историю. Сто лет назад, в мае 1921-го, русский поэт Сергей Есенин собрался в Туркестан, конкретнее, в Ташкент (тогда все было еще Туркестаном, позже его поделили на пять среднеазиатских советских республик). Перед отъездом приятель Анатолий Мариенгоф стал отговаривать: зачем ему Ташкент? И вдруг в ответ Есенин, совершенно трезвый, без какой-то логики заговорил про их подругу Галю Бениславскую: мол, обрати внимание – «а у нее глаза зеленые!».

К чему это? Мариенгоф застыл в недоумении – Есенин тут же укатил в Ташкент.

И вот опять. Зеленые глаза глядят с ташкентского забора.

Случайно – или времена рифмуются? Из прошлого подмигивал поэт.

Улица Сагбан, где я сейчас иду, когда-то в древности вела к воротам города, а их было 12 – по числу созвездий зодиака. То есть под этими же звездами и этим же путем ходил тут беспощадный всемогущий

Тамерлан, а до него еще и ученик Аристотеля, Александр Македонский. А после них – ходил еще поэт Есенин. А после – Симонов или Ахматова. Тут где-то их следы.

* * *

Ташкент плывет, как рукописный свиток.

По улице Сагбан я шел от мемориала Славы – там огромный парк с подробным музеем, посвященным нашей общей Великой Победе. Там ходят школьники, там же недавно президент Узбекистана возлагал цветы к памятнику «Ода стойкости». Скульптурная симфония посвящена верной Зульфие Закировой из Ханабата, потерявшей в войну пятерых сыновей и вместе с невестками хранившей до последних дней преданность своей семье.

Мемориал нельзя не посетить – настаивал поэт и переводчик Мухиддин Омон. Мы с ним встречались, он вручил два необъятных тома, «Узбекистан в годы Второй мировой войны». Книги ценные, в них летописи тысяч судеб. На обложке, увы, не «Великая Отечественная». Да и в самом музее, собранном с любовью, надписи на стендах удивляют – «оборона Москвы», «оборона Одессы» или «Курская дуга» – на узбекском и... английском.

Всего лишь буквы – стоит придавать значение? Похоже, стоит.

Узбекский поэт и переводчик Мухиддин Омон, широкая душа, сидел напротив и читал свой новый перевод из Ахмадулиной – на удивление созвучный мелодически лирическому русскому стиху. А у меня перед глазами плыл Ташкент и строки про «вселенную в окне – букварь для грамотея».

Другой поэт, Сухбат Афлатуни (в переводе – «диалоги с Платоном»), он же ташкентский русский поэт и писатель Евгений Абдуллаев, об этом тоже говорит: воспринимать весь мир как алфавит – это такое свойство азиатского суфизма.

– В какой поэзии еще найдешь сравнения, – заметил он, – подобные стихам узбекского дервиша Машраба трехсотлетней давности? У него девичий «стан подобен (букве) алиф». Или «от горестей спина сгибается как (буква) нун».

Так что все буквы и слова здесь – зашифрованная память или же привет из космоса.

Восток: в него надо вчитаться – а без этого он не откроется.

* * *

Приехал я, чтобы ответить на вопрос: вот почему в Великую Отечественную главные киношники страны в эвакуацию уехали в Алма-Ату, художники предпочли Самарканд, а поэты и писатели – именно Ташкент?

Но... следом тут же побежал другой вопрос: а почему сюда же (и без видимых причин!) еще в двадцатые, в Гражданскую, решил отправиться на двадцать дней поэт-имажинист Есенин? А через двадцать лет сюда приехал с фронта автор «Жди меня» военкор Симонов – и посвятил поездке повесть «Двадцать дней без войны».

Времена рифмуются, будто узоры на ковре.

Но я хожу тут, рассуждаю про себя: а почему сюда же года три назад свалились россияне-релоканты (средний возраст 32) – и все они

в Ташкенте не зарифмовались? Приехали и моментально выпали – остался, говорят, лишь чей-то рестораник.

Кто приезжал?

Айтишники, пиарщики, администраторы. Поэтов не было.

Дело не в том, сколько уже уехало, а сколько еще нет – скорее, в том, какой за ними остается шлейф.

Про них в Ташкенте ходят анекдоты: некий питерский психолог с трапа самолета прокричал – здесь азиатчина, нет европейских ценностей! Другие рвали волосы: то слишком холодно зимой, то слишком душно летом.

Странно – говорят мне – а чего они хотели? Приезжали-то зачем? Или за чем.

Искали для себя здесь «город хлебный» – а попали в город букв...

Нет, все-таки кому куда, а мне пора к Есенину. Здесь ведь у русского поэта – свой музей.

Двадцать дней Есенина

Ташкентское метро улыбочиво и не угрюмо. Мне до станции «Ха-мида Алимджана» (следующая – «Пушкинская»). Если кто не знает, Алимджан и Пушкина переводил. Писал антифашистские стихи. Ахматова в эвакуации к нему ходила за дровами. Но в 34 года, в разгар войны, поэт погиб в авиакатастрофе.

От метро минуты три – и вот музей Есенина. Белый домик на бывшей улице Толстого (переименованного в 90-х в академика Кары-Ниязова). Вокруг пятиэтажки, рядом спортплощадка – но музеем, кажется, уютно. Что немаловажно – он тут государственный. И вход бесплатный.

Захожу – как раз Борис Голендер водит по музею заглянувшую семью из Подмосковья, из Дубны, папу-маму-дочку-школьницу. Борис Анатольевич – историк и один из тех энтузиастов, силами которых здесь музей и появился ровно полвека назад. Он уверяет: как со школы зачитался, так его Есенин и не отпускал. «И не жалею, – говорит. – Мне Есенин помогает жить. Великие поэты отличаются от нас умением видеть мир лучше, дальше нас».

Ведет из зала в зал, их тут немного, и всё очень плотно, густо, отовсюду смотрят лица из другого времени. Вот и платочек матери поэта. Вот кожаный коричневый чемодан из «Англетера», доверенный музею дочерью Есенина Татьяной, – он помнит заграничные вояжи самого поэта и поездки Тани с братом, мамой Зинаидой Райх и отчимом, великим «доктором Дапертутто», Всеволодом Мейерхольдом, имя которого нацарапано на чемодане возле ручки.

Был еще второй чемодан – в нем дочери после ареста отчима и гибели матери героически удалось спасти архивы Мейерхольда: передала Сергею Эйзенштейну, и теперь тот чемодан в Москве, в Музее Глинка...

Вот и посмертная маска поэта – их осталось две, одна в Ташкенте, а вторая в Константинове.

Когда Есенина нашли в декабре 1925-го в «Англетере», в кармане пиджака лежало крохотное фото детей, Тани и Кости, завернутое в денежную купюру. «Дочь, кстати, – говорит Борис Голендер, – никогда не сомневалась в том, что это было самоубийство...»

И тут Борис Голендер вспомнил про Сергея Безрукова: приезжал в прошлом году, выступал в Ташкенте, побывал в музее, все цветы от зрителей, огромную охапку, отвез на могилу Татьяны Есениной – она

ведь как приехала в эвакуацию в Ташкент, так здесь и прожила всю жизнь...

Но едва он произнес имя Безрукова, школьница из Подмоскovie бросила свой телефон и прокричала: «Боже мой, я, может быть, сижу на стуле, на котором мог сидеть Сергей Безруков!»

Голендер попытался убедить: Есенин лучше!

Стал перечислять: к ним приезжали и Евгений Евтушенко, Римма Казакова, Василий Лановой, Сергей Никоненко – «это же он сыграл первого Есенина в нашем кино».

Нет, я и сам Сергея Безрукова, конечно, уважаю. Просто школьница из Подмоскovie не хотела слышать никаких других имен. Родители смущенно объяснили, что у них в Дубне снимался сериал «Бригада» – там же главный был Безруков, так что...

Все равно, конечно, польза от экскурсии для школьницы тут очевидна – стоило лететь в Ташкент, чтобы узнать, как много удивительных имен скрывает русская культура.

* * *

Так что же привело в Ташкент Есенина? Представьте: 26 лет, молод, а не зелен, ростом всего 168 см, а уже большой поэт. Вроде бы вдруг сорвался в мае 1921-го – но и не вдруг.

Как раз против него сплотились литсобратья. Дело и не в его перепалках с Маяковским или драке с Пастернаком.

«Главные хранители русской души и речи», писатель-символист Алексей Ремизов, писатель-большевик Евгений Замятин (оба вот-вот сбегут из страны, без пяти минут эмигранты) уверяли, что на место подлинных творцов пришли такие «юркие» писаки, как Есенин.

Под натиском создателей литературных репутаций и нарком культурных дел Луначарский пригвоздил публично «исповеди хулиганов».

Так что Есенин ехал на Восток не в поисках красивых декораций. Убегая от себя, хотел прийти к себе.

Поехал в Туркестан с приятелем Колобовым, ответработником наркомата путей сообщения, в его вагоне жил в Ташкенте – и съездил в Самарканд.

Было у него несколько литературных вечеров – но больше по друзьям-приятелям. Здесь ведь его встретил свой широкий круг поэтов. И «крестьянский», давний приятель Есенина по переписке Александр Ширяевец. И футурист Георгий Светлый. И даже имажинист Валентин Вольпин. И те же разговоры.

И к тому же оказалось – здесь танцуют тот же модный танец шимми, что в Москве и Питере. Носят те же остроносые ботинки, а в кинотеатре «Хива» – совсем новый фильм «Кабинет профессора Калигари» с Конрадом Фейдтом в главной роли. Все вроде то же – будто и не уезжал.

Есенин отказался от кино: «Надоело».

Затащили на концерт, где пели «Шумит ночной Марсель», – удрал со скандалом.

«Пустите, – говорит, – не за тем я приехал».

Вышел на улицу, а там верблюды. Обнял его: «Милый, унеси меня отсюда, как Меджнуна». Куда же уносить – от самого себя?

Потом в Москве он так и говорил: запомнился верблюд.

Художник Александр Волков, ученик Маковского, считавший себя учеником Врубеля, в то время был уже директором первого в Средней

Азии Госмузея искусств. «Пришел ко мне, сел на пол в комнате возле окна и стал читать стихи: “Все познать, ничего не взять пришел в этот мир поэт”».

При чем тут был Ташкент?

А дело тут во «внутреннем Ташкенте» – поисках ума и сердца.

И художник Волков удивлялся: как Есенин умудрился написать о Бухаре, которую не видел, – «и стеклянная хмарь Бухары»?

«Лучше ведь не скажешь. Это знаете что? Зной, смешанный с пылью веков, зной, оплавливающий камни бухарских куполов, их голубые изразцы. И откуда он это знал?»...

По пути в Ташкент он лихорадочно работал над поэмой «Пугачев». Приехал – стал читать отрывки, но писал еще и возвращаясь в Москву. Там одинокий Пугачев беседует наедине с собой, его преследуют и предают свои же – и нет покоя ни ему, ни миру.

Через год соратник по имажинизму Вольпин написал статью о туркестанской вылазке Есенина и встречах с ташкентскими поэтами. Сборники с его статьей изъяли отовсюду, потому что книгу открывало приветствие демона революции Троцкого. А Вольпин и пытался разгадать, зачем Есенину была нужна эта поездка: «Он ехал не в “Ташкент – город хлебный” – а открывать Восток. Внутри себя...»

Замечательный художник Волков объяснял по-своему:

«Не знаю, почему он тогда приехал в Ташкент. Многие сюда приезжали. Но он чувствовал, что здесь что-то важное должно совершиться для России. Настоящие поэты не выбирают случайных дорог».

Были еще в Ташкенте неожиданные встречи на вокзале – их обычно замечают вскользь: во вскользь и между строк нередко прячут что-то очень важное...

Есенин встретил земляка из Константинова, учились вместе, – красноармеец Кузьма Цыбин ехал на борьбу с басмачами в штаб одной из среднеазиатских бригад.

Встретил и приятеля по временам учебы в народном университете имени Шанявского – поэт Василий Наседкин позже женится на есенинской сестре Кате. А сейчас проездом с фронта – он тут не первый год воюет с бандами басмачей. Есенин подарил ему книгу «в знак приязни»...

Но его «Персидские мотивы», появившиеся позже, это ведь не только «Шаганэ» – но и проникновенная «Баллада о 26»: «Ночь, как дыню, / Катит луну. / Море в берег / Струит волну. / Вот в такую же ночь / И туман / Расстрелял их / Отряд англичан».

Четыре оставшихся после Ташкента года жизни Есенина – это не только разъедавший изнутри «черный человек». Это и «Русь уходящая», где он, «задрав штаны, готов бежать за комсомолом». Это и Ленин – строитель новой жизни из его поэмы «Гуляй-поле». Это и вещий сон, в котором видится поэту вечная история – «с копьями со всех сторон / нас окружают печенеги»...

* * *

И через двадцать лет, в сорок третьем году, в том же Ташкенте – Есенин снова не давал покоя никому. Ни эвакуированным надолго, ни прибывавшим на побывку с фронта. Каждому – по-своему.

Лидия Чуковская спросила у Ахматовой: «А если бы Есенин не погиб, быть может, и выработался бы из него настоящий поэт? Ведь было же в нем что-то?»

Анна Ахматова неспешно отвечала: «Не думаю. Слишком уж он был занят собой. Даже женщины его не интересовали нисколько. Его занимало одно – как ему лучше носить чуб: на правую сторону или на левую?»

И эхом неожиданно – у Константина Симонова в повести «Двадцать дней без войны» майор Лопатин вспоминает вдруг в Ташкенте, как в двадцать третьем году гордился знакомством с Есениным. И как теперь, под пулями и бомбами, он слышал под Одессой полкового комиссара, читавшего бойцам Есенина по памяти.

И вот майор Лопатин – может, сгоряча и присмотревшись, как различны интересы творческой среды в эвакуации и тех, с кем он бывал на фронте, – не совпал совсем во мнении с Ахматовой:

«Будь Есенин жив, наверно, в эти роковые дни писал бы стихи о своей России и ездил бы на фронт – пускали или не пускали, все равно бы ездил!

Да и лет к сорок первому году ему было бы не так уж много – всего сорок шесть!»

Режиссер, с которым говорил у Симонова в повести военкор Лопатин, стал напоминать ему об Александре Блоке. И зачем это, кому понадобилось, чтобы поэт надел воинский китель и сидел каким-то табельщиком в военно-строительной команде под Пинском на Первой мировой войне! Тем более что ту войну потом признали глубоко неправильной, империалистической и «чуждой народным интересам».

Что сказал в ответ майор Лопатин режиссеру?

«Чуждая-то чуждая, а три миллиона народу на ней в землю легло. Как с этим быть? Может, Блок при всем отвращении к войне чувствовал потребность разделить общую судьбу? Не просился, но и не открывался, хотя, наверно, мог».

Случайно ли в ташкентских разговорах каждый раз всплывали эти имена – Есенин, Блок?

Но так сходилось – тут же постоянно что-то сходится, – что эти два поэта здесь, в Ташкенте, в прозаической беседе двух героев повести оказались точками отсчета, лакмусами, единицами измерения. По ним герои будто и определяли для себя свой «внутренний Ташкент».

А что это такое? Что-то вроде совести. Ужасно беспокоит.

Что, к примеру, может означать эта «потребность разделить общую судьбу». Кто-то сочтет, что это атавизм, а кто-то скажет: самурайство. Так или иначе, это все про то, чего нельзя купить, продать или пересчитать.

Как можно увидеть – совесть? Разве что в глазах вдруг что-то промелькнет. Зеленых?

Между прочим, и Ахматова – ловила те же взгляды:

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне.

Шехерезада идет из сада

Забиваю в интернете название: «Мангалочий дворик». Это клуб-музей Анны Ахматовой. В Ташкенте он больше четверти века. Навигатор Яндекс лукаво петляет по центру, я иду по стрелке, «но шаги мои были легки» – от площади Дружбы народов к огромному парку – мимо шмыгнул паровозик с переростками-туристами – и где-то в самой середине парка наконец... Стрелка замерла: пришел.

Передо мной на вывеске «Даяко-чикен». Корейский рестораник. Стены трясутся под биг-бит, и можно было бы, конечно, перепутать правую и левую перчатки, но сейчас в Ташкенте ходят без перчаток.

Анну Андреевну в «Даяко-чикене» не видели.

Шехерезада
Идет из сада...
Так вот ты какой, Восток!

И все же, есть музей Ахматовой в Ташкенте или нет?

На выручку пришел всезнающий Борис Голендер, историк из музея Есенина:

«Да, музей Ахматовой, конечно, есть. Но он такой... домашний. Есть душа музея, вокруг нашей ташкентской поэтессы Альбины Маркевич собираются – встречи, лекции, вечера. Одно время – в “Русском доме”, сейчас их приютила епархия – встречаются в библиотеке нашего Успенского собора...»

В сущности, проблема в том, что нет музейных экспонатов. Все, что было ценного, давно уехало с владельцами.

Конечно, жаль, что вообще история эвакуации поэтов и писателей в годы Великой Отечественной осталась без своего музея, но теперь уже, боюсь, поздно... Я сам не раз держал когда-то в руках рукописные автографы Анны Андреевны. А теперь даже домов, где жили литераторы в войну, не осталось: после землетрясения 1966 года их не стали восстанавливать».

Мангалочий дворик,
Как дым твой горек
И как твой тополь высок...

«А, кстати говоря, к нам в Есенинский музей, – уточнил Голендер, – лет 20 назад из петербургского музея Ахматовой на Фонтанке приезжала выставка “Тень моя на стенах твоих”. О Ташкенте в жизни великой поэтессы. И знаете, за пару месяцев набежало пять тысяч ташкентцев... Не знаю, соберется ли столько теперь».

Хотя сама Ахматова писала про Ташкент в 1944-м: «Я не была здесь лет семьсот, / Но ничего не изменилось...».

Много ли могло тут измениться за каких-то восемьдесят лет?

Зайти в ахматовский «азиатский дом», конечно, можно – виртуально. А уж там куда Ташкент вывезет.

Двадцать дней Толстого и Ахматовой

В ноябре 1941-го Анне Андреевне выделили комнатку кассира в «доме литераторов», на Маркса, 7 у ташкентской Красной площади – здесь для эвакуированных поэтов и писателей освободили управление культуры. Теперь и площадь эта называется – Мустакиллик, Независимости. И улица теперь – Махтумкули, по имени туркменского мыслителя. Да и на месте прежнего дома – фонтан.

Следующий ахматовский адрес – на Жуковского, 54 (теперь улица имени академика Садыка Азимова). Сюда Ахматова переселилась летом 1943-го на жилплощадь уехавшей вдовы писателя Булгакова. Дом состоял из нескольких слепленных построек. В глубине двора деревянная лестница вела наверх на балахану (пристройку над верхним этажом).

Переезд озаменовали строки в честь Елены Сергеевны, булгаковской Маргариты: «В этой горнице колдунья / До меня жила одна: / Тень ее еще видна / Накануне новолуныя».

На месте этой горницы колдуньи после ташкентского землетрясения появился типовой панельный дом. Но ведь история, как рукописи, не горит, не рассыпается от землетрясений. Рукописи улиц переходят в дневники, воспоминания и письма из того Ташкента.

Вчитаешься, и удивительное чувство: голоса из прошлого – опять про нас, про день сегодняшней.

Эвакуация эвакуацией, но в творческой среде всё будто повторяется. Всё те же полюса, те же вопросы и рефлексии – какие они, западные или же восточные? Зачем нужны поэты на войне и без войны.

Сiju на кухне у ташкентского русского поэта Сухбата Афлатуни (он же Евгений Абдуллаев), он меня предупреждает от поспешных умозаключений:

«Многие, конечно же, в Великую Отечественную в Ташкент эвакуировались или попросту бежали от войны. Кому-то деваться было некуда, кто-то даже после войны остался здесь. Но, хотя многие из них друг друга недолго любили и начинали что-то делить между собой, было то, что всех объединяло: однозначное желание победы над врагом. Помните же, знаменитое “Мужество” Ахматовой печатали в газете “Правда”: “Мы знаем, что ныне лежит на весах, / И что совершается ныне”.

И там же еще:

“И мы сохраним тебя, русская речь, / Великое русское слово”...

И, между прочим, многие у нас в Ташкенте считали, что картина Германа “Двадцать дней без войны”, конечно, гениальная, но совершенно не передавала подлинный Ташкент тех времён. Он в фильме серый и мрачный – а здесь, при всех лишениях и бедах, была атмосфера светлая на удивление. Даже радостная. По улицам тогда еще верблюды ходили. И люди гуляли, и музыка звучала, и даже, представьте, театральная жизнь бурлила».

* * *

Целая армия голодных взвинченных поэтов и писателей со всей страны одновременно – на маленьком клочке пространства. Кстати, почему все разговоры тут – мол, если уж музей, то, разумеется, Ахматовой.

А почему не Алексей Толстой? Не Симонов, к примеру?

Мощные фигуры, будто отодвинутые в тень.

Рассказы об Ахматовой в эвакуации все время начинают со стесненных обстоятельств. Хотя стесненными они были у всех.

Тем, кто с детьми и стариками, – каморки относительно просторней. Вообще в Ташкент народу прибыло в три раза больше, чем тут было горожан.

Великих, выдающихся и знаменитых – чуть не каждый третий. Литераторов одних – а кто из них не гений? – больше двух сотен.

И все-таки возможность перебраться в более удобную квартиру у Ахматовой была.

Насчет ее переезда в «дом академиков» договорился Алексей Николаевич Толстой. И что же?

Отказалась.

Рассуждали: ну, конечно, там же дорого – 200 рублей за комнату, а здесь всего лишь 10.

Так она сама и объясняла Лидии Чуковской: «Здесь я могу на худой конец и на пенсию жить. Буду выкупать хлеб и макать в кипяток. А там я через два месяца повешусь в роскошных апартаментах».

Толстой назвал ее «негативисткой». Она ответила, мол, сам такой.

Зато соседи «ликовали по поводу ее решения». Профессор-пушкинист Мстислав Цявловский «кинулся целовать ее руки, когда она несла выливать помой», – записала склонная к преувеличениям Лидия Чуковская.

И все же дело не в деньгах, ну хорошо, не только в них. Тут всё гораздо тоньше.

Комфортнее устройшься – а сколько будет пересудов. Сколько пыльных строчек в письмах, дневниках, воспоминаниях. Все это ляжет в биографию поэта, а зачем ей прозелень на бронзе?

«Делать биографию» – Ахматова не забывала никогда.

Вот же Толстой: сколько кому добра ни сделал Алексей Николаевич, будут шуршать до наших дней: вот «барин». «Красный граф». «Приспособленец». Даже «шут». А справедливо или нет – какая разница. Злорадство для кого-то тоже счастье.

А потому что надо было «делать биографию».

Тем более что было у кого учиться.

Зато Толстой был выдумщик и весельчак.

В один из дней устроил у себя в квартире детский праздник. Шуточный спектакль.

* * *

Раневская в восторге описала этот вечер у Толстого: скетч назвали «Где-то в Берлине» – он был незамысловат и до колик смешон.

В темной подворотне к красавице Татьяне Окуневской подбирался извращенец Гитлер (его изображал Сергей Мартинсон). Но чуть приблизится – выходят двое из ларца (в роли могучих плотников Соломон Михоэлс и хозяин, Толстой). Маньяк скрывается.

И сцена повторялась до тех пор, пока маньяк не был изгнан с позором. Все это с песнями и плясками – попадали со стульев все.

Детей в эвакуации – болезненней всего – спасали как могли. Попробуй научи детей терпеть, когда им нестерпимо. Все старались как могли, поэты тоже. Выходило по-разному.

Ахматова отправилась на один из «грандиозных вечеров в пользу эвакуированных детей». Чуковская – за ней. Записывает: выступала, прочла «Воронеж», «Веет ветер лебединый», но так, что Чуковской «было стыдно». Не за поэтессу, а за публику.

«Всех встречали бурно, провожали с треском, а ее и встретили вяло, и проводили почти молча... Читала она напряженным голосом, чтобы ее слышали – но все равно было не слышно, – и торопливо, как школьница, чувствуя неуспех, чтобы поскорее кончить».

В чем дело? Чуковская знает ответ: «в общей благотворительно-эстрадно-кабарежной настроенности публики».

Куда деваться в этой атмосфере настоящему поэту? Депрессии ему не избежать, если, конечно, он не какой-то примитивный, а изысканный поэт, ну, настоящий.

Все знали, что поэт Владимир Луговской в Ташкенте страшно рефлексировал.

Но дети промелькнули и в его стихах. Под «сонный разворот ташкентских дней» он написал «Алайский рынок».

Все в его стихах прекрасно так, что жить не хочется: «Мне, собственно, здесь ничего не нужно, / Мне это место так же ненавистно, / Как всякое другое место в мире...»

И тут еще ребенок вдруг – поэт скис окончательно:

«Здесь столько горя, что оно ничтожно, / Здесь столько масла, что оно всесильно. / Молочнолицый, толстобрюхий мальчик / Спокойно умирает на виду...»

Другой поэт, Иосиф Уткин, – противоположность Луговскому.

Он не юн, ему под сорок, он недавно из-под Ельни, там он потерял в бою четыре пальца. Теперь в Ташкенте лечится и действует на нервы всем соседям: ни минуты не сидит, издал подряд «Фронтовые стихи» и «Стихи о героях», а к ним еще и песенный альбом.

Изысканности не хватало Уткину.

Есть у него и про детей, и даже умерших, но Луговской смотрел на них с вершин Олимпа, а Иосиф Уткин по-земному содрогается от ужаса:

«Я видел сам... Я видел их – / Невинных, мертвых и нагих, / Штыками проткнутых детишек! / И, как слепой, руками шаря, / Не веря собственным глазам – / Их матерей в костре пожара, / Товарищи, я видел сам!»

Конечно же, война. Конечно, время обострило до предела эту противоположность взглядов двух поэтов. Или даже двух литературных лагерей.

Но вот... внезапно в этот спор о взглядах, о месте и степени изысканности настоящего художника – вопреки всему, что думала Чуковская о ватниках из зала, – вмешалась Анна Ахматова.

Хотела или нет вмешаться, а сердце заставило. И точки расставились сами собой.

В 1942 году Ахматова в Ташкенте не написала – простонала – о далеком соседском мальчишке из Ленинграда. Да не о нем одном: «питерские сироты, детоньки мои» – они были теперь и тут кругом.

«Памяти Вали», две части как два голубя, двадцать две строки: «Под землей не дышится, / Боль сверлит висок, / Сквозь бомбежку слышится / Детский голосок...»

У Анны Андреевны сохранилась расписка от мальчишка Вали Смирнова: «Обещаю больше никогда не кривляться, за что Ахматова будет со мной дружить». У него еще был младший брат Вова. А с Валею она занималась французским.

А в Ташкенте ее догнала весть: Валя с братом погибли при артобстреле. «Принеси же мне горсточку чистой, / Нашей невской студеной воды, / И с головки твоей золотистой / Я кровавые смою следы».

Чуковская была взволнована: Ахматова «вдруг объявила мне третьего дня, что она хочет ехать с подарками ленинградским детям в Ленинград и что она уже возбудила об этом ходатайство. “Поеду. Приду к Алимджану и скажу: в Ленинграде меня любят. Когда здесь в декабре вы не давали мне дров – в Ленинграде на митинге передавали мою речь, записанную на пластинку”».

Да, речь ее слушали, затаив дыхание, в сентябре 1941-го по радио в Ленинграде. Запись повторяли – ей внимали. А она же говорила вовсе не о чем-то неземном.

О мужестве. О силе русской речи. О том, что мы не отдадим врагу своей земли.

Простые вещи говорила – как большой поэт.

К ней как-то пришел в Ташкенте юноша-танкист.

Чуковская фиксирует:

«Двадцать три года, серьезный, измученный. Что-то страшно трогательное и правдивое, и строгое. Совсем неинтеллигентный (представляется “Виктор”), но тонкий... Сорванный голос.

Возвращается на харьковское направление. – Я был в атаке два раза. После первого кажется, что больше уже не пойдешь».

Чуковская записала: «Братское чувство, хочется обнять его и плакать. Усталые, строгие мальчишки».

А юноша-танкист сказал им вдруг тогда:

– Как странно, что тут танцуют. Хорошо бы, если бы этого не было. Соседи были рады, что Ахматова от них не переехала.

Соседи были рады: наконец уехал Уткин.

Он такой прямолинейный.

Он на фронт.

В ноябре 1944-го погиб в подбитом самолете, возвращавшемся от партизан.

Его нашли среди обломков с томиком Лермонтова в руках.

* * *

Но все же почему история жизни литераторов в эвакуации не начинается с Толстого? Надо бы так по справедливости, но это слово слишком часто похоже на дышло: зависит от тех, кто это дышло поворачивает.

Алексей Николаевич тоже из Серебряного века. Не чужой Ахматовой: она когда-то с Гумилевым позвала Толстого на свою московскую свадьбу (обвенчались раньше в Никольской Слободке под Киевом). Он ей насолил потом: не раз в своих произведениях изображал претенциозных декадентов, чем-то напоминающих Ахматову, она, конечно, это помнила.

По возвращении из эмиграции Толстой издал свое «Хождение по мукам» в Ленинграде – на обложку водрузил двойной портрет Ахматовой с художницей Судейкиной, о похождениях которой всем было известно.

Знак внимания – такой двусмысленный.

Перед войной, в 1939-м, Сталин вдруг спросил: а почему не печатается Ахматова?

Пространство власти вздрогнуло – по вертикали побежал сигнал. Впервые за семнадцать лет ее напечатали в журналах. Через год приняли в Союз писателей. И даже Алексей Толстой пробил ей сборник «Из шести книг».

Но тут же бдительность «творческой среды» и литсобратьев вернула мяч в обратном направлении, снизу вверх пошел сигнал о безыдейности. А вертикали, чтоб изъять ахматовскую книгу, никакого Сталина уже не нужно.

Вертикаль всегда сильнее.

Ахматовой сочувствовали многие: известно, сколько трагических страниц в ее судьбе. Но ей запомнилось, как на вокзале в Куйбышеве (Самаре), по пути в Ташкент, ее обняла и прослезилась незнакомая старушка. «Бедная, так жалеет меня. Думает, что я слабенькая, – а я танк!»

После войны с Ахматовой пять раз встречался в Ленинграде английский дипломат Исая Берлин – и тогда его ужасно удивил один нюанс. Ее не просто беспокоит Сталин – но она, как показалось Берлину, будто мифологизирует вождя: отбрасывая прочих мелких сошек, только с ним, как с равной по величине фигурой, связывает каждый поворот

своей судьбы. Рассказывала: будто Сталин отдавал приказ отравить ее, но передумал. Из блокадного Ленинграда вывезли Ахматову – все стали повторять: конечно, это Сталин беспокоился. После войны блюститель Жданов обозвал ее «блудницей и монахиней» – и тут Ахматова давала Берлину такое объяснение: а это Сталин к ней ревнует публику. Весной 1946 года она читала стихи в Колонном зале – ей хлопали стоя. У творческой среды тотчас родился анекдот о реплике вождя: «А кто организовал вставание?»

У Алексея Толстого свои особые отношения и с властью, и с творческой средой. Для одних он крупный писатель, разочаровавшийся в правде белых и выбравший правду красных. Для других он разрушитель вековой концепции о том, что подлинный художник в принципе не может разделять те идеалы и держаться тех основ, которые объединяют власть, кроме элит, со всем, что называется, простым народом (разговоры о творческом кризисе Пушкина, если кто забыл, завело прежде всего его ближайшее окружение – как только автор «Вольности» написал «Бородинскую годовщину» и «Клеветникам России»).

Перед войной Сталин изложил Толстому, каким ему видится значение Ивана Грозного в истории страны, для которой единение всегда было вопросом выживания. В эвакуации Алексей Николаевич работал как боец на фронте. Создал дилогию о Грозном – пьесы «Орел и орлица» и «Трудные годы». Малый театр и МХАТ не захотели эти «заказные» пьесы ставить: миллион предложений.

Толстому пришлось подробно объяснять в письме вождю свою идею, прилагая тексты пьес, – тот кивнул в ответ. Пьесы поставили, но чуть не сразу же театры вычеркнули их – сослались на опасный перегиб по линии интимности.

Не привилегия, а крест быть «красным графом»: счет его читателям шел на миллионы, а в ближнем круге избранных глухое раздражение.

Еще раз Толстой обратился к вождю – уже с просьбой перечислить собственную Сталинскую премию за «Хождение по мукам» (в Ташкенте он закончил и свою трилогию романом «Хмурое утро») на постройку именного танка фронту.

«Ваше желание будет исполнено» – и всё.

Несмотря на нездоровое сердце и возраст за шестьдесят Толстой уезжал в командировки – чуть ли не к передовой. По следам встреч с солдатами написал «Рассказы Ивана Сударева». В 1943-м сел за третью книгу «Петра Первого». Написал десятки очерков с понятными названиями. «Вера в победу», «Мы сдюжим!», «Родина», «Что мы защищаем».

«В русском человеке есть черта... Был человек – так себе, потребовали от него быть героем – герой... А как же может быть иначе?»

Писал он так, что фронтовые писатели опубликовали в «Правде» благодарность Толстому за простую человеческую правду.

Ну и что?

Он многим помогал, он разрывался, но ведь за спиной Толстого – только непрерывное шипение. С тех пор – до наших дней.

Из дневника Всеволода Иванова: «Погодин считает Толстого приспособленцем».

Иванов и Погодин тоже здесь, в Ташкенте. Надо пояснить, что оба были авторами известных произведений, прославлявших советскую власть. Погодин – автор «Кремлевских курантов». Иванова прославил «Бронепоезд 14-69» (как с белыми бились за советский Дальний Восток).

«Приспособленец» Алексей Толстой не устал мотаться по госпиталям и выступать перед рабочими заводов, перебравшимися в эвакуацию. Как успевал – понять трудно. И одышка мучила.

Работал – и не протирал штаны – в Комиссии по расследованию злодеяний фашистских оккупантов. О зверствах на Ставрополье – в его очерке «Коричневый дурман». Ездил на процессы в Краснодар и Ростов.

Актриса Рина Зеленая уверяла: сердце там окончательно надорвал. До Победы не успел дожить, скончался в феврале 1945-го.

Так в грядущем прошлое тлеет

Под присмотром Алексея Толстого в 1943-м в открывшемся ташкентском филиале издательства «Советский писатель» вышел сборник Ахматовой. Первый за 20 лет – если, конечно, не считать «изъятый» за год до войны книжки.

Как-то Толстой пришел к Ахматовой с двумя корзинами: в них яблоки, варенье и дрова. Не черная икра. Ушел – она, как говорит предание, все раздала соседям (нет, дрова оставила). Соседи быстро сгрызли яблоки – и записали в дневники: вот барин, всё жирует, да у него еще, небось, на запасных путях стоит несъеденный вагон с деликатесами.

Соседи, «атмосфера» и «среда» – такое колесо, которое кого угодно переедет. И ведь всегда найдется «Сталин» – «это Сталин виноват».

Ахматова в Ташкенте прожила до мая 1944 года. Написала здесь свою «Поэму без героя» – хотя работала над ней и в шестидесятых. Создала стихотворения «Мужество», «На Смоленском кладбище», «Три осени», «Где на четырех высоких лапах...», цикл «Луна в зените», в котором и «Ташкент зацветает», и «Пальмира», и «Еще одно лирическое отступление». Там у нее пылал «Ташкент в цвету, / Весь белым пламенем объят, / Горяч, пахуч, замысловат, / Невероятен...»

В феврале 1942-го у Толстого слушали Вильгельма Левика: переводы лирики Ронсара и «Ленору» Эдгара По. Потом Толстой читал свою сказку о Синеглазке. Потом Иосиф Уткин со своими фронтовыми правдами. И композитор Леонид Половинкин с песнями на его стихи. Чуковская немедленно в дневник: «Очень глупый композитор».

Ахматова читала у Толстого «Поэму без героя». Поэма возвращала в 1913-й предвоенный год. Угадывались между строк такие фейерверки множества романов всех со всеми! А в конце концов густые карнавалы Серебряного века будто бы грозили неизбежной всеобщей расплатой. Поэма как предчувствие войны и неизбежного водораздела: белые и красные (а если вглубь задуматься – можно дойти и до раздела на мадам Шерер и «дубину народной войны»).

«Как в прошедшем грядущее зреет, / Так в грядущем прошлое тлеет – / Страшный праздник мертвой листвы».

Толстой был от поэмы в восторге – в ней каждый до сих пор может услышать что-нибудь свое, истолковав по-своему. Чуковская ревниво записала, что «Толстой похож на дикого мужика», нюхом художество чувствует, но говорит «в большинстве чушь».

Зачем Ахматовой толстовские яблоки – она просила, чтобы он помог ее безвинно осужденному сыну Льву Гумилеву. Но, кажется, она переоценивала степень его весомости для власти.

А в пьесе Толстого «Трудные годы» в том самом 1942 году появилась Аннушка. Княгиня Анна Вяземская у него – тайная любовь Ивана Грозного, оставшегося в полном одиночестве. Да и она сама несчастлива с супругом. Всё так запутанно, ему покоя не дают ее глаза. Нет, не зеленые.

«Лазоревые глаза твои, невинные... Далеко ли до них мне итти еще? Аннушка...»

После войны, когда Толстого уже не было в живых, Ахматова разоткровенничалась с тем же англичанином Исайей Берлиным:

«Алексей Толстой меня любил. Когда мы жили в Ташкенте, он носил лиловые рубашки на русский манер и постоянно говорил о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации... Эдакий мерзавец, полный шарма... Называл меня Аннушкой, что меня всегда коробило. И тем не менее он чем-то привлекал меня...»

И Аннушка в той пьесе – неспроста? Впрочем, Ахматова сейчас же спохватилась и выпалила Берлину – безо всяких оснований: но вообще Толстой «антисемит» – и даже Мандельштам будто погиб после того, как дал ему пощечину.

Берлин и без того воспринимал ее слова как смесь реального с воображаемым. Но эта-то ее фантазия была – с чего?

* * *

Летом 1942-го до Ташкента добралась вдова поэта Надежда Мандельштам, жила уроками французского, пока ее не приняли преподавателем в университет. Жила в том же доме, где Ахматова.

Здесь жили многие, всех уплотняли, по комнате на семью, а то и на две, если разделить перегородкой. Одно слово – «Ноев ковчег».

Тут и семейная пара немцев-антифашистов, бежавших от Гитлера и плохо говоривших по-русски. Тут и венгерский пролетарский писатель Виктор Мадарас. Тут и поэт Сергей Городецкий с женой Анной, тоже поэтессой с псевдонимом Нимфа Бел-Конь Любомирская.

Нимфа любила на крылечке вспоминать свои романы – сценаристка Мария Белкина записала за ней – «как был в нее влюблен даже Анатолий Франс и как лежала она однажды, обнаженная, на белой медвежьей шкуре, а на пороге появился он». (На этом Белкина запуталась – который именно?) А Нимфа повторяла: «Но трижды, трижды я вошла бы в двери ада / Лишь за одну из девственных его ночей». Это впечатляло.

Но про Городецкого. Был когда-то близок к Гумилеву, вместе создавали «Цех поэтов», потом пути их разошлись. Городецкий больше не писал сколько-то значимых стихов и даже обзывал Ахматову прилюдно «контрреволюционеркой». Однако же в Ташкенте жили по-соседски дружно. Было что вспомнить. До поры до времени.

Он рисовал Ахматову, расписывал ей комнату и выступал с ней в госпитале. Она на день рождения вручила ему пару яблок. Он даже подстригал ей челку – осталось письменное заверение, что справился: «Верно. А. Ахматова. Хорошо».

Но с появлением Надежды Мандельштам все церемонии закончились. Совпало так.

Возможно, что и фантазия вокруг Толстого с Мандельштамом тоже стала отголоском этих дней.

Мало ли кто, и что, и как нашептывал Ахматовой – но, значит, нравилось, раз слушала.

Желающих злословить о Толстом всегда хватало. По любому поводу. Вот, например, жена у Алексея Николаевича слишком молода. Людмилу Баршеву подозревали в «шашнях» с сыном видного историка, Борисом Вишпером. Корней Чуковский тут же выдал злую эпиграмму – радовались страшно: «Старик терпел большой урон / Пока щенка не вишпер вон».

Злословие особая статья – в эвакуации сгустился этот концентрат.

Дочь Корнея Чуковского негодовала, что Раневская с Ахматовой «после большого пьянства» кричат на весь двор. После эвакуации она с Ахматовой лет десять не встречалась, это уж «потом подружилась с нею снова и дружила до гроба»... А Елене Булгаковой, которая выживала ее во время тифа, припомнила электроплитку: «В одну из тяжелых голодных ташкентских зим, будучи управдомом, она вошла ко мне и перерезала (с Евгением Хазиным, братом Надежды Мандельштам) у меня свет за то, что я якобы жгу плитку сверх меры. Это было смерти подобно: не на чем же было стряпать, топлива, плиты у меня не было... Думает, что я забыла?»

Корней Чуковский разругался насмерть с Самуилом Маршаком: тот не хотел в 1942 году поддерживать переиздание кровожадного детского триллера Чуковского «Одолеем Бармалея!» – «И всадил он Каракуле / Между глаз четыре пули». Хотя Чуковский сам перечитал лет через десять и признал, что как-то тут погорячился.

Пламенная запись в ташкентском дневнике Всеволода Иванова. Услышал от Маруси, домработницы, – муж ее, оказывается, капитан и служит в штабе полководца Жукова где-то под Сталинградом. Реакция у Иванова неожиданная. Раскалился добела: какая-то Маруся – и при этом муж при штабе Жукова?!

«По прежним масштабам, Жуков – вроде генерала Брусилова – кто же был бы тогда этот капитан? Сын банкира, крупного промышленника, университетское, может, и академическое, образование – а теперь? И жена его не придает этому значения, да и он, небось».

Оказалось, что война во многих, даже с виду патриотах, поднимает ностальгические чувства: кто сказал, что с кукишем в кармане жить легко?

Двадцать дней Симонова

Вот в это всё у Симонова в повести майор Лопатин, между прочим, окунулся прямо с фронта – и контраст был ошутим. Под пулями какое «словоблудие». Тут любят рассуждать, как жизнь невыносима, – там просто «до смерти четыре шага».

Почтенная актриса в симоновской повести – а в Ташкент приехали в эвакуацию и театр Ленинского комсомола (нынешний «Ленком»), и театр Революции (нынешняя Маяковка), и киевский театр Ивана Франко, и киноактеры организовали свой театр, и... всего к десяти ташкентским прибавилось еще восемь «новых» театров – так вот, почтенная актриса задает вопросы прибывшему военкору. И ядовито так: ну что, мол, «человек, бывающий на войне»?

Ей хочется не столько расспросить, сколько уесть Лопатина – и смотрит сверху вниз, как человек высокого искусства: ну что, убивали кого-то на фронте? Получили удовольствие – или испытали наслаждение? Откуда вообще берется в людях эта вот «решимость умереть за родину»?

Майор Лопатин терпеливо отвечал. «Наслаждение» – это не про войну. «Решимость умереть» – из области самоубийства. Тут вообще другое: «решимость сделать все, что от тебя зависит, в условиях, когда это грозит смертью».

Лопатин тут – как в параллельном мире. Как его угораздило?

Помимо всего прочего в Ташкенте военкору Лопатину важно было встретиться со старым знакомым, Вячеславом Викторовичем, – не секрет, что в повести описана встреча самого Симонова с давним товарищем, отличным боевым поэтом Владимиром Луговским.

Когда-то тот наотмашь звал читателей такими пулеметными очередями строк: «Заветная ляжет дорога / На юг и на север – вперед. / Тревога, тревога, тревога! / Россия курсантов зовет!»

Когда-то в довоенном фильме Эйзенштейна хор звал читателей под знамя Александра Невского словами Луговского: «Вставайте, люди русские!»

И началась война, и люди, которые поэту верили, вставали – что же Луговской?

Отправился было на фронт, но по пути попал под бомбы – и бегом: он в кризисе, он комиссован, он – в Ташкент, в Ташкент, в Ташкент.

«“Не был бы ты известный писатель, на комиссию, может, и послали б, а демобилизовали бы вряд ли! Отправили бы на первое время в тыловые части, с ограниченной годностью”, – жестоко подумал Лопатин».

Сидит теперь здесь среди сплетен и злословия – и ему прекрасно дышится?

В повести Симонов не пытался быть судьей. Он недоумевал. Ведь Луговской совсем не одинок – такое «было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на фронт не ездили, а просто эвакуировались, уехали. Приняли близко, некоторые даже слишком близко, к сердцу советы сберечь себя для литературы».

Писатель Симонов, как и его герой Лопатин, честно пытается найти ответ: отчего война так неожиданно их разделила? Священная, и на кону вопрос о выживании всего народа, и они здесь все – любимые, народные, глубокие и понимающие. Вот из нынешнего Луговского:

«Три дня я пил и пировал в шашлычных, / И лейтенанты, глядя на червивый / Изгиб бровей, на орден – “Знак Почета”, / На желтый галстук, светлый дар Парижа, – / Мне подавали кружки с темным зельем».

Недоумение того, кто очутился в этом мире прямо из войны, – как минимум понятно.

Но Симонов еще не раз услышит – да кто из нас не слышал даже и сегодня: дело не в страхе смерти, нет, просто любой большой поэт, как Луговской, конечно, непременно должен надломиться, потому что он ведь про свою страну «понял всё».

А всякий, кто поэта спросит – как же так? – услышит то же, что шипели Симонову вслед: «любимец Сталина».

Ну что-то вроде.

Конечно же, судачили о Луговском в Ташкенте и без Симонова. Обсуждали: должен бы жениться на Елене Сергеевне (Булгаковой) – а женился вдруг на Елене Леонидовне (по псевдониму – Майя Луговская).

Сестра Татьяна (замечательная мхатовская художница) не выдержала пьянства Луговского – попросила как-то повлиять Ахматову.

Анна Андреевна ответила резонно, что поэту можно всё.

Не задыхалась ли сама Ахматова в этом окружении – среди злословия и сплетен?

Майор Лопатин в повести у Симонова слышит ее имя – и в ответ ни слова.

А при всей ее любви к двусмысленностям – не случайно все-таки Ахматова писала, отмечая «чуждый небосвод», «защиту чуждых крыл», вот эти строки: «Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был».

В Ташкенте у Радзинских, вроде бы полушутя, Ахматова предложила основать «общество людей, не говорящих худо о своих ближних».

Все насторожились.

Ей пришлось мягко объяснить:

«Я просто хотела в деликатной форме намекнуть присутствующим, что я не желаю слышать каждую минуту какую-нибудь гадость об одном из наших коллег – будь то Уткин, П. или Городецкий».

Мы здесь все живем так тесно, что нужно принимать специальные меры, чтобы сохранять минимальную чистоту воздуха... Когда я вспоминаю, что говорят обо мне, я всегда думаю: “Бедные Шалапин и Горький! По-видимому, всё, что о них говорят, – такая же неправда”».

...И вроде бы – что общего между изысканной Ахматовой и прокурренным симоновским военкором?

Но если вслушаться – майор Лопатин говорил о той же чистоте, о нравственной:

«Всё-таки война – как труба Страшного суда – заставляет человека почувствовать себя голеньким, держащим ответ за все им сделанное... Всё это, конечно, только если он верит во что-то, что намного важнее его собственной жизни, и это что-то, в общем-то, судьба его страны».

* * *

У эвакуированного литератора Виктора Шкловского на фронте погиб сын, гвардии старший лейтенант Никита Шкловский. Весь его класс добровольно пошел на войну и весь – погиб.

Сын Корнея Чуковского Борис погиб осенью 1941-го под Москвой, возвращаясь из разведки. Сын Николай всю блокаду пережил в Ленинграде, был участником обороны города.

Писатель Евгений Петров, написавший с Ильфом про Остапа Бендера, – разбился в самолете, возвращавшемся из Севастополя в разгар боев. Ему лишь сорок лет. (Всеволод Иванов по этому поводу тут же записал в дневник: «Странно, но все, кто умеет и страстно хочет устроить свою жизнь советским, легальным способом, от страсти своей погибают».)

Погиб и юноша Георгий Эфрон, Мур, любимый сын Марины Цветаевой. В Ташкенте он еще доучивался в школе. Сообщал сестре Ариадне, сидевшей в лагере по бредовому обвинению в шпионаже, – как помогает Алексей Толстой. А поначалу и Ахматова. Устроили в писательскую столовую – подкармливали.

Подростку без семьи, конечно, не хватало денег и еды. Влип в историю, продал какие-то хозяйкины вещи. Замяли кое-как.

Ахматова не стала помогать мальчишке: «Я видела убийцу».

Он написал сестре: «Подчас мне завидно (по смыслу: обидно. – И. В.) – за маму. Она бы тоже могла быть в таком “ореоле людей”, жить в пуховниках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она никогда не была “богиней”, сфинксом, каким является Ахматова. Она не была

способна вот так просто сидеть и слушать источаемый ртами мёд и пить улыбки...»

Муру помог Толстой – после школы выбрался в Москву и поступил в Литинститут. Но в 19 лет записался добровольцем – и погиб в 1944-м.

Возле ташкентской школы номер 64 есть мемориальная табличка с именами не вернувшихся с войны выпускников – не забыт и Георгий Эфрон.

Талантливый был юноша – все говорили. В 17 лет в Ташкенте записал в дневник такие удивительные наблюдения за эвакуированной творческой средой:

«Интеллигенция советская удивительна своей неустойчивостью, способностью к панике, животному страху перед действительностью. Огромное большинство вешает носы при ухудшении военного положения. Все они вскормлены советской властью, все они от нее получают деньги – без нее они почти наверняка никогда бы не жили так, как живут сейчас. И вот они боятся, как бы ранения, ей нанесенные, не коснулись и их. Все боятся за себя...»

* * *

Они, конечно, победители. Но самое печальное: война ведь выбила как раз вот это поколение – максималистов, юных, умеющих честно и искренне верить. Даже упрекавших власть за то, что та способна предавать высокую идею.

Симонов в Ташкенте набросал вчерне свое честное стихотворение «Зима сорок первого года»: «Хоть шоры на память наденьте! / А все же поделиши порой / Друзей – на залегших в Ташкенте / И в снежных полях под Москвой».

Напечатал позже, в пятьдесят восьмом.

А кто же выиграл в споре военкора и приятеля в эвакуации – «погибшие» или «залегшие»?

В 1958-м Симонова отстранили от руководства журналом «Новый мир». Опальный писатель уехал – и куда?

В Ташкент.

Там он узнал, что одного из героев его повести, доблестного руководителя Узбекистана Усмана Юсупова, не жалевшего себя в войну, тоже сместили – директором отсталого совхоза в глушь.

Кто был победитель – кто стал проигравшим?

Тоже история по кругу.

В Ташкенте конца пятидесятых Симонов написал трилогию «Живые и мертвые», десятки очерков, переводил узбекскую поэзию, его жена Лариса Жадова работала над книгами по узбекской керамике и живописи. Тогда же писатель познакомился в редакции «Правды Востока» с дочерью поэта – Татьяной Есениной. Помог напечатать в «Новом мире» и издать отдельной книгой ее повесть «Женя – чудо XX века»...

* * *

...Ахматова читала в госпитале раненым любовные стихи из «Anno Domini».

Один боец спросил: а правда, что была поэтом-акмеистом? Неужели и Есенин тоже – акмеист? – Нет, он имажинист, ответила и гордо вышла.

«Какая есть, желаю вам другую».

И тут пора на Боткинское кладбище. Там похоронена та самая Татьяна, дочь Есенина и актрисы Зинаиды Райх. Там даже больше: целая история страны...

Потерянные и усыновленные

Где искать на огромном Боткинском кладбище в Ташкенте могилу дочери русского поэта Есенина? В Музее поэта мне объяснили: главное, попасть на «коммунистическую» часть кладбища. Через дорогу, там отдельный вход. Зайдете – и направо, сразу увидите.

В самом деле, найти оказалось легко. На черном мраморе доброе лицо дочери Татьяны Сергеевны – светится. Рядом цветы – и свежие.

Прощались с Татьяной Есениной в мае 1992 года в том же музее ее отца. В Ташкенте она прожила полвека. Как оказалась здесь? В эвакуацию, в войну. Приехала, осталась – как и многие.

Работала в «Правде Востока», потом – в научном издательстве «Фан», воспитывала детей и внуков. Кроме повести «Женя – чудо XX века» вышли ее книги «Лампа лунного света», «Дом на Новинском бульваре», воспоминания об отчине Всеволоде Мейерхольде и матери, Зинаиде Райх.

Когда-то Райх играла Фосфорическую женщину из будущего в «Бане» Маяковского у Мейерхольда. Повесть Есениной «Женя – чудо XX века» из шестидесятых тоже футуристическая и при этом актуальная для наших дней. Там появляется искусственно созданный человек – и сразу же вокруг него посыпались вопросы: сможет ли такой искусственный любить, уживется ли с простыми смертными? А совесть у такого есть?

Есенина писала весело и намекала на обещанный хрущевский коммунизм в ближайшем будущем: в него должны были войти уже какие-то другие люди... Что же не вошли?

Пожалуй, с высоты сегодняшней можно сказать уверенно: хоть коммунизма нет – но люди во всем мире с каждым днем становятся искусственной. Сплошные фосфорические поколения – так что Есенина попала в точку...

А за могилой дочери поэта тут идут аллеи бесконечные. Кругом – народные, заслуженные, чемпионы, гордость некогда большой страны.

Неподалеку Валентин Овечкин. Публицист, автор прославленных «Районных будней», обещал Твардовскому прислать отсюда, из Ташкента, рассказ о знаменитом колхозе «Политотдел» и его легендарном председателе Ман Гым Григорьевиче Хване. Не успел.

Мемориал в память погибших в авиакатастрофе футболистов «Пахтакора» – скорбела вся страна, не только лишь Узбекистан. Герой Крымской войны и обороны Севастополя, генерал Кривоблоцкий. Генерал Востросаблин, перешедший на сторону красных. Автор одного из основных «Толковых словарей русского языка» Дмитрий Ушаков. Легендарный Сидней Джексон тоже тут: боксер-американец, бившийся за дело революции, стал тут основателем узбекской школы бокса и гордился, что среди его учеников не только чемпионы, но и три Героя Советского Союза.

И отец Юнгвальд-Хилькевича, снявшего «Трех мушкетеров», тоже здесь – он был одним из создателей узбекской оперы. И здесь же похоронена легенда Серебряного века Черубина де Габриак, она же

Елизавета Дмитриева, по мужу Васильева. Из-за нее стрелялись два поэта – Гумилев с Волошиным...

На Боткинском в Ташкенте похоронена и близкая родня Керенского, возглавившего после демократического госпереворота Временное правительство и едва не развалившего страну...

Здесь же представлена и сторона Романовых. Дарьей Часовитиной, неофициальной женой (и матерью троих детей) великого князя Николая Константиновича, внука Николая I.

Сам-то великий князь, когда-то сосланный родней из Петербурга, встретил революцию здесь с красным флагом, сразу объявил себя жертвой коварного царизма. И новая власть отнеслась к этому с пониманием.

В январе 1918 года великий князь скончался – после отпевания исполнили «Интернационал», потом уже Шопена.

Правда, он был похоронен возле своего дворца в центре Ташкента – и его могилу как-то затеряли. Но зато дворец – роскошнейший – стоит! Шесть лет назад решили ремонтировать. Копнули – обнаружился подземный ярус, в нем сокровища на миллион долларов: слитки золота, монеты, уникальные картины, книги, рукописи и посуда. Это при том, что после революции богатые коллекции внука Николая Первого составили основу нынешнего ташкентского Музея искусств.

Да, кстати, есть на Боткинском и могилы родителей Анатолия Собчака: отец Александр Антонович был ветеран войны, имел боевые ордена. Рядом его жена, Надежда Андреевна.

Куда ни повернешь тут – мостики истории. Идешь по кладбищу, как по музею, и не отпускает мысль – наивная, конечно.

Умирили – думали, за Родину. Думали, на Родине. А оказались за границей? Это вот их отрезали, как неуклюже подсказал когда-то классик, – чтобы Россия «освободила сама себя для драгоценного внутреннего развития»? Это вот, в сущности, они – тот самый «давящий груз подбрюшья»? Кто они теперь, чужие среди своих или свои среди чужих?

Как говорит ташкентский поэт Санджар Янышев, сама страна однажды эмигрировала из-под ног, так что люди, не сделав ни одного шага, оказались эмигрантами в своем доме.

Санджар с Вадимом Муратхановым и Сухбатом Афлатуни в конце девяностых создали свою поэтическую «Ташкентскую школу», издавали самиздатовские сборники... Правда, теперь двое из них уже давно живут в России. В Ташкенте из поэтов той «Ташкентской школы» – только лишь Сухбат Афлатуни. Он же Евгений Абдуллаев.

А почему же он остался?

20 нынешних дней

Сухбат Афлатуни рассказывает мне, как он когда-то, были времена, ходил на лекции Абрама Вулиса по теории детектива. Лекции Вулиса перебивались вечными его воспоминаниями о встречах с Еленой Сергеевной Булгаковой – и еще неизвестно, что было слушать интереснее: про теорию детектива или про встречи с булгаковской Маргаритой.

Константин Симонов в Ташкентском университете был оппонентом на защите диссертации Вулиса по истории советской сатиры. Он же познакомил Вулиса с Еленой Булгаковой, и потом в ташкентском толстом журнале «Звезда Востока» появилась работа Вулиса – и вот там впервые выплыли на свет фрагменты из романа «Мастер и Маргарита».

Сухбат Афлатуни теперь сам входит в редакционный совет той самой «Звезды Востока» – журнал по-прежнему выходит, но теперь не ежемесячно, а через раз. И это объяснимо: «Исчезает языковая среда – скукоживается литература».

...В эвакуацию в Ташкент попал известный критик Корнелий Зелинский. Здесь же он преподавал в университете... «Зелинский – своеобразная фигура, – рассказывает мне Сухбат Афлатуни, – гнобил Пастернака, с которым дружил, гнобил сына Всеволода Иванова Вячеслава... Но при этом именно Зелинский написал предисловие к вышедшему в Ташкенте сборнику Ахматовой». А предисловие к воспоминаниям сына критика – так сложилось – написал как раз Сухбат Афлатуни.

Его романы, между прочим, хорошо знакомы внимательным читателям: Афлатуни был финалистом и лауреатом многих литературных премий – от «Триумфа» и «Русской премии» до «Ясной Поляны». Он сейчас входит и в состав экспертов «Большой книги».

И уезжать из Ташкента не думает.

«Я человек отсюда. Что не мешает мне чувствовать себя своим и в России... Конечно, от того Ташкента и от тех людей здесь мало что осталось. Тут ведь дело в границах языка. Что, опять же, не мешает оставаться оптимистом.

Возвращать Ташкент в контекст русской литературы, мне кажется, дело стоящее».

В книгах Афлатуни нетрудно встретить пролетающего русского космонавта Лермонтова. Можно столкнуться с Владимиром Ильичом Маяковским. Или услышать кредо старого учителя: «Жить надо так, чтобы ни один душман не мог из-за куста крикнуть: эй, печально я гляжу на ваше поколение!»

И всех героев множества его романов и рассказов мучит загадка этого пространства, уместившего в себе и Александра Македонского, и Тамерлана, и героев вплоть до тех времен, «когда Москва нашей столицей быть расхотела».

Разгадывает внутренний смысл движения России в Азию, и вся история вдруг разрастается в библейскую... И вся, выходит, неспроста – и вся не зря.

«Что волнует, о том и пишу. Литература, – говорит Сухбат, – возводит языковые башни – каждая из них как ось. И может показаться бесполезной, даже обреченной на разрушение. Но все равно продолжает тянуться в синюю пустоту».

В его рассказе «Проснуться в Ташкенте» ходит странная Люба Холоденко, сочинительница тысячи песен. Она поет про все, что видела с войны, с эвакуации.

Жила тогда она дом в дом с одним известным старым певцом-акыном. Люба дружила с его семьей. Акын садился под старый тутовник и пел. Примерно так: «Я слишком стар, чтобы понять новую власть и ее прихоти, но когда я вижу прекрасную пионерку Любу, я готов принять и Маркса, и Энгельса, и других неверных. Ее родинка, как фисташка, щеки – тюльпан, на устах – веселый смех».

Люба в ответ тоже пела – уже и не помнит, о чем. Давно это было.

* * *

От моей гостиницы до площади Дружбы народов рукой подать. Прогуливаюсь – тут все время многолюдно.

В центре площади – любопытная скульптурная композиция, сразу 17 фигур: двое родителей с детьми.

С ними на площади тепло, поверьте. При мне такие вдумчивые солидные мужчины выстроились и сфотографировались на фоне памятника.

А памятник известный, появился здесь в 1982-м. Буквально через сорок лет после того, как Самуил Маршак написал свой очерк «Любовь и ненависть».

Героями очерка стали кузнец ташкентской артели имени Калинина Шаахмед Шаахмудов и его жена Бахри Акрамова. Они усыновили 15 детей, приехавших в эвакуацию из разных уголков страны, национальности у всех разные, как и фамилии: русские, белорус, молдаванин, еврейка, латыш, казах, немка, татарин... Двухлетнего мальчика, не помнившего родителей, назвали Ногмат, что значит «дар».

Маршак писал, что с фронта Шаахмеду незнакомый старший лейтенант Левицкий прислал несколько сот рублей и обещал все время присылать – «пока будет жив».

В том же 1942 году у Эренбурга вышел в «Красной звезде» очерк «Узбеки»: «Странно видеть этих смуглых юношей с лицами, обожженными солнцем юга, среди болот и лесов нашего сурового севера. Но ласково говорят узбеки: “наша земля” – они сражаются за древний русский город Ржев, и для них это родной город».

У Эренбурга говорилось о храбрых сыновьях Узбекистана, сражавшихся на всех фронтах не за чужую землю, за свою.

А в Ташкенте о семье Шаахмудовых стали снимать кино, писали книги. После войны четверых усыновленных нашли родные. Двое из детей выросли и поженились – узбечка Муаззам и белорус Михаил. Один много лет спустя успел найти состарившуюся мать в Днепропетровской области. Страна, история такая – все родня.

А скульптурную композицию в Ташкенте авторы – скульптор Рябичев и архитекторы Адамов и Адылов – сразу же назвали так: «Дружба народов».

Но судьба у памятника оказалась непростой.

В 2008-м «Дружбу народов» попытались отменить. Сместили с постамента, вывезли куда-то на окраину, где стали потихоньку распиливать и растаскивать в пункты металлолома.

Так было десять лет, пока...

При новой власти, в 2018-м, как раз к 9 Мая кузнеца вернули на прежнее место. Реабилитировали. Как и собственно «Дружбу народов».

* * *

Я заглянул в уютный домик Россотрудничества в Узбекистане – руководительница Ирина Старосельская только что вернулась из Самарканда. Человек она невероятно обаятельный, рассказывает очень увлеченно:

«Вот сейчас в рамках программы “Большие гастроли” узбекский Молодежный театр везет в Калугу и Истру спектакль “Казбек. Судьба героя” о судьбе Героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева, воевавшего в годы войны в партизанском отряде в Белоруссии. И поставил его белорусский режиссер.

Я была на премьере – по-моему, получилась очень яркая история ко Дню Победы... Для меня вообще это святой праздник. У меня самой оба деда воевали, бабушки – одна в плену была у немцев, вторая работала в московском госпитале...»

Что же касается истории с семьей кузнеца Шамахмудова, надо напомнить, что Узбекистан принял больше миллиона человек, приехавших отовсюду, и около 250 тысяч из них – дети.

Усыновляли многие: кроме семьи Шамахмудова у Самадовых – 12 детей, у Касымовых – 10, у Жураевых и Ашурходжаевых – по восемь...

И, кстати, такая душевная щедрость людей поразила многих поэтов и писателей в те годы. Кроме Маршака и Симонов в своих военных дневниках поражался, скольких детей из детдомов да и просто с вокзалов брали к себе узбекские семьи... И у Ахматовой в ее автобиографических заметках было о том же – как усыновляли и удочеряли и «делились последним куском хлеба, сахара, последней пиалой плова или молока»...

Был у Ахматовой даже перевод стихотворения Гафура Гуляма «Ты не сирота», там были такие строки: «Здесь ты дома. Здесь я стерегу твой покой. / Спи, кусочек души моей, маленький мой!»

...А я уже иду мимо Большого театра – да-да, в Ташкенте свой Большой театр, их было три в СССР – в Москве, Минске и здесь. А знаете, как вспоминает легендарная балерина Бернара Кариева про времена эвакуации?

Малышкой же была тогда – пятилетнюю Бернару ее папа, возглавлявший театр, привел (еще была другая сцена и другое здание, бывший цирковой «Колизей», театр имени Свердлова), и девочке надо было изображать птенчика, порхавшего по сцене, пока «птица-мать», настоящая балерина, делала арабеск. Так вот, осталось в ее памяти такое тесное и шумно-сказочное детство:

«На мою судьбу во много повлияла та атмосфера времен эвакуации. В войну в Ташкенте жили все артисты. Никита Богословский, например, жил в нашем доме, у моих родителей. Рядом с нами соседка приняла Бориса Андреева и Марка Бернеса. А мы жили в маленькой двухкомнатной квартире, и вторую комнату мама отдала Богословскому. Никита Владимирович жил у нас пять лет. И вот “Темную ночь” для фильма “Два бойца” он писал у нас дома! А Марк Бернес потом исполнил ее в Ташкентской киностудии, где снимались “Два бойца”...»

Бернара стала балериной, училась при московском Большом театре, вернулась, когда в Ташкенте у театра было уже нынешнее роскошное здание, выстроенное по проекту Щусева, и театру дали имя Алишера Навои... В девяностые, оставив сцену, Бернара Кариева много лет возглавляла Союз театральных деятелей и сам Большой театр Узбекистана.

Вспоминает, как в 1959-м привезли в Москву балет по лермонтовскому «Маскараду» композитора Льва Лапутина, и газета «Правда» скаламбурила: напечатала статью об успешных гастролях под заголовком «Головокружение от узбеков»...

Всю свою биографию Кариева построила на русской классике. Так и говорит: «Это моя судьба». Танцевала в блоковской «Незнакомке», в тургеневском спектакле «Как хороши, как свежи были розы», в «Анне Карениной»: «Только хореография, рисунок танца остались от Плисецкой. У меня все-таки узбекский менталитет, и он давал о себе знать. Анна у меня была гораздо мягче воинственной героини в постановке Майи Плисецкой. Но она мой образ приняла...»

...У входа в театр, между колоннами, какие-то девчушки весело фотографируют друг друга. Принимают разные художественные позы. Смотрю издали – будто немое кино...

А что они когда-то скажут про свою судьбу?

Будет у них возможность вспомнить искренне вслед за Бернарой: как хороши, как свежи были розы?

Бледно-зеленый кук-чай томится в пиалах. Налили – ритуально сполоснули пиалу, налили – вылили обратно в чайник. Как говорят здесь, «лой-мой-чай»: первый чай – глина, второй – не лучше, а вот третий – самое то.

Под зеленый узбекский чай можно вести «чай-пой», разговор о том о сем.

Но я сейчас иду по улице Ташкента, веду «чай-пой» с самим собой.

Ахматова, кстати, писала название города на узбекский манер, через «о» – Тошкент. В стихах она благодарила всех:

Рахмат, Айбек, рахмат, Чусти,
 Рахмат, Тошкент! – прости,
 Мой тихий древний дом.

Чустий, он же Набихон Ходжаев, был знаменитым поэтом-певцом, а в эти годы возглавлял в Ташкенте музыкально-драматический театр имени узбекского мыслителя Муками.

Айбек, он же Муса Ташмухамедов, написал роман об Алишере Навои. А на «рахмат» Ахматовой он отвечал своими строками:

«Из комнаты пустой и душной, / Из тех военных долгих лет / Так величаво безыскусно / Выходит женщина на свет. / Она, седин своих не пряча, / Идет всем горестям назло. / И зонтик так ее прозрачен, / Как стрекозиное крыло...»

Старые дворики давно здесь разбежались. Балаханы поскрипывают лишь в воспоминаниях. Все это драгоценный «сор» – ведь из него слагается искусство с вечными вопросами.

Зеленые глаза подмигивают нам с заборов. Жизнь рассыпается по улицам на буквы и слова. Ташкент уводит нас, как текст, к самим себе: а что там?

Рукопись судьбы ведет нас всех – нам бы успеть, нам бы только суметь – вчитаться.

P. S.

Сухбат Афлатуни советовал читать узбекского поэта Турсуна Али. Вот в его переводе:

Осень.
 Вечерний намаз.
 В небесном море,
 как ряды кораблей – журавли.
 В их строе один
 знакомый мне раненый журавль.
 Окажи ему помощь, Господи.